**Феномен мнимой экзальтации**

Константин Фрумкин

В ранних произведениях социолога Питирима Сорокина есть одна странная ошибка. Сорокин создал учение о классификации актов человеческого поведения. Последних, по Сорокину, существует три разновидности:

- нормальное и обязательное поведение, которое общество требует от своих членов;

- подвиги, которые не обязательны, но рекомендуемы и награждаемы;

- преступления, т.е. запрещенные акты поведения, совершение которых наказуется.

Первое, что бросается в глаза даже не являющемуся профессиональным социологом читателю - это то, что в системе Сорокина совершенно отсутствует место для морально-нейтральных актов поведения. К какому из трех сорокинских разрядов отнести, скажем, безобидное посвистывание на улице? Оно не обязательно, не рекомендуемо и не наказуемо. По Сорокину же все, что не обязательно - либо подвиг, либо преступление.

Можно попытаться представить себе то сообщество, которое было бы адекватно описываемое сорокинской классификацией. Его члены не смеют делать ничего сверх обязательного, или хотя бы рекомендуемого. Здесь перед нами - жесткая тирания, или еще скорее - экзальтированная секта. Причем экзальтированность следует понимать строго определенным образом. В словарях под экзальтированностью понимают состояние болезненного возбуждения, т.е. этому понятию дается психологическое, психофизиологическое толкование. Нас же интересует не психология, а культура. Чтобы понять экзальтированность как категорию не психологическую, а культурологическую, надо переосмыслить ее, исходя из того, что индивидуальная психология влияет на общие характеристики общества и культуры. Человек интегрирован в культуру через поступок. Для поступка и его соотнесенности с общественной оценкой возбужденность проявляется через разрастание чувства необходимости его совершения. Таким образом, экзальтированность в данном контексте - это, прежде всего, гипертрофированность чувства долга, будь это долг религиозный, рыцарский или любой другой.

Особенность экзальтированного, сектантского поведения - в отсутствии понятия о необязательных, но допустимых поступках. Все либо обязательно, свято - либо запрещено. Тирания навязывает своим подданным экзальтированное поведение. При жесткой теократии всякое нормальное жизненное отправление становится исполнением закона, актом служения. Таким образом, сливаются до неразличимости сакральные, ритуальные - и обыденные действия, с заметным перекосом к ритуалу. Вся жизнь становится исполнением ритуала.

Понятия, близкие по смыслу к такому действию-служению можно найти у Владимира Соловьева в понятии "теургия" или у Николая Федорова в понятие "общее дело". Но ведь это все мыслители мистической напряженности! По мнению Н. Федорова элементы "общего дела" были свойственны ранним христианским общинам, где, как он считал, литургия не ограничивалась службами в храме, а охватывала всю жизнь общин.

То же самое примерно можно сказать об идеальной еврейской общине - общине, какой её пытается создать регламентирующая быт религия, и как пытаются жить некоторые ультраортодоксальные еврейские семьи. Иудаизм сакрализовал будничный обиход еврея до такой степени, что сам этот обиход стал подобием литургии.

Итак, поскольку вся жизнь общин - это богослужение, т.е. действие морально-обязательное, но, с другой стороны нельзя предполагать, пожалуй, в быту этих общин полного отсутствия проступков и преступлений. Сам Федоров вряд ли думал так о первых христианах, равно как и никто и предполагает в быту самых-самых религиозных евреев каких-то хотя бы случайных нарушений. Есть место и для подвигов, и для обязанностей и ля преступлений, то есть к этим экзальтированным сообществам с натяжкой применима сорокинская классификация.

Экзальтации долга есть куда двигаться дальше этого. Ведь и христианство, и иудаизм, по крайней мере, знают религиозное подвижничество. Морализм а-ля Сорокин все-таки дает простор для некоторой инициативы, для прорыва за пределы обязательного - хотя необязательное все-таки обязательно подвержено критериям моральной оценки, необязательный поступок обязательно должен быть хорошим. Дальше для экзальтированного морализма имеется сделать еще один шаг: все, что не обязательно, запрещено. А поскольку, в этом случае, нормальное поведение теперь неразличимо с героическим, то формула поведения еще романтичнее: подвиг обязателен, все, что не подвиг (или все, что не обязательно) - преступно. Здесь уже веет нравами каких-нибудь суперменов-самураев. Это самоограничения, налагаемые на себя аскетами-подвижниками, великими цадиками. Впрочем, лучше вспомним платоновский "Чевенгур". Он весь - роман о фанатизме и экзальтированности. В "Чевенгуре" установлены порядки, которые кажутся чем-то вреде бунта против иудейской религии. Если евреям запрещено работать по субботам, то в Чевенгуре разрешено (и обязательно) работать только по субботам. Дело, конечно не в иудаизме. Просто субботник - это, по коммунистической идеологии, особый, священный, почетный труд, занятие самоотверженных подвижников. Но герои "Чевенгура" питаются долетающими до них брызгами коммунистического мифа, при этом отношение к нему у них доходит до страшной и страстной напряженности. Поэтому единственно возможным - равно как и обязательным - становится труд священный. Труд же будничный - и, следовательно, с точки зрения восторженного и напряденного сознания не героический - запрещается в Чевенгуре как буржуазный пережиток.

Впрочем, даже если бы в системе Сорокина было предусмотрено нейтральное поведение, то все равно следовало бы говорить об известной степени его моральной экзальтированности, ибо наличие таких категорий как подвиг и преступление говорит о возможности исчерпывающего различения, что добро, а что зло. И эта однозначность существует не только для описываемого системой Сорокина условного общества, но и для самого Сорокина. Как доказательство очевидности чувства запрещенности, недолжности. Сорокин предлагает читателю представить, что он убивает собственного отца. А между тем в то время, когда Сорокин пишет свои трактаты, в России выходят романы Андрея Белого ("Петербург" и др.) где маниакальным рефреном звучит желание лирического героя убить собственного отца, причем это желание находит у него внутреннее оправдание.

Исчерпывающее понимание, что добро, а что зло имеет своим следствием известную нетерпимость, т.к. необходимым условием готовности идти на компромисс является сомнение в абсолютности своей правоты и признание относительной правоты за противоположной стороной. Когда Сорокин разбирает ситуацию столкновения разных систем ценностей, разных шаблонов поведения он видит из нее три исхода:

- раскол и размежевание;

- уничтожение одной из сторон;

- насильственное подчинение одной из сторон шаблонам и ценностям другой стороны.

Возможность четвертого варианта - компромисса между системами ценностей, консенсуса - Сорокину даже не приходит в голову; руссоистические теории общественного договора Сорокин прямо считал в корне ложными.

Можно набросать шкалу степеней моральной экзальтированности:

- моральный нигилизм;

- бескомпромиссное различение добра и зла;

- отсутствие чего-либо, кроме добра и зла;

С точки зрения этой шкалы учение Сорокина относится даже не ко второму, а к третьему этапу моральной экзальтации - хотя и не доходит до его предела, когда стираются различия между нормой и подвигом.

Таким образом, теорию Сорокина можно считать классической иллюстрации идеи Ю. Лотмана о характерности для русской культуры на всем протяжении ее истории "бинарной структуры самоосознания", которая связана с "разделением мира на мир греха и мир святости, с отрицанием "среднего" - не греховного и не святого, а нейтрального пласта". И, в соответствии с культурологической концепцией Ю. Лотмана, наше нынешнее отношение к системе Сорокина означает описание бинарной модели самоописания с точки зрения "тернарной" (трехэлементной) модели, которая, по мнению Лотмана, активно действует в короткие периоды перелома эпох.

Вопрос, только, о какой экзальтации идет речь? Об экзальтации людей, относящихся к своему долгу как священному, или о науке, которая в своих интеллектуальных моделях общества искусственно имитирует экзальтацию, создавая такие системы описания, под которые подходят лишь сообщества экзальтированных людей? Я спрашиваю себя: почему Питирим Сорокин выглядит столь странно, как человек экзальтированный и видящий экзальтацию вокруг себя, как человек бинарной, черно-белой модели в терминологии Ю.Лотмана? Почему замечательный ученый ловится на такой элементарной вещи, как существование не награждаемых и не наказуемых обществом человеческих поступков, поступков пусть даже ничтожных, социально незначимых, но все же реальных?

В ответе на это вопрос есть две составляющих. С одной стороны играет роль возбужденная атмосфера, царящая в среде русской интеллигенции начала века, она индуктивно воздействовала на всех авторов тех лет.

С другой стороны, можно привести мнение Михаила Ямпольского, которое применительно к нашему случаю означает перенос вины за ошибку Сорокина на весь Запад. Вот что говорит М. Ямпольский:

"Я думаю, что гуманитарная наука ХIХ века вся строилась вокруг и на основе понятия "нормы"... И только сегодня, наконец, мы начинаем понимать, какое огромное число явлений человеческого опыта осталось за пределами нормативного подхода к ним. Обычно их определяли как "патологические", "анормальные", "перверсивные" и т.п. К ним, прежде всего, относятся осуждаемые обществом сексуальные практики, безумие, насилие... В итоге к ХХ веку сложилось странное положение, когда одни явления почему то были допущены в качестве нормы в круг нашего сознания, в то время как другие оказались вытесненными на его периферию. а это - огромный пласт явлений, без которых невозможно осмыслить жизнь общества и человека". Сам по себе интерес наук к нормам естественен. Весьма основательным представляется мнение, согласно которому вообще наличие нормы является свойством любой социальности, нет общества без нормы, они рождаются вместе. Способность человек отличать "правильное" поведение от "неправильного" является самым первичным и фундаментальным условием того, чтобы считать человеческие действия осмысленными. При этом для такого критерия осмысленности еще не имеет значение, может ли человек рационально обосновать свой поступок, или он поступает определенным образом по традиции, по привычке, в подражание другим и т.п. Другое дело, что социум - это сложная игра норм, норм общепринятых, коллективных и индивидуальных, постоянных и временных, латентных и эксплицитных и т.д. По этой причине, при описании социума не возможно кодифицировать нормативную систему так, чтобы в ней не осталось места для не предусмотренного и не запрещенного нормами поведения. А значит, само по себе указание на "зацикленность" науки на нормах еще не отвечает на вопрос, куда же все-таки делось нейтральное.

Однако сетования М. Ямпольского по поводу "нормативного подхода" может дать нам ключ к решению этого вопроса, если мы зададимся вопросом об источниках информации ученых об изучаемых обществах. Если ученые концентрируются на нормальном и не уделяют достаточного внимания маргинальному - это, все-таки еще не повод, чтобы полностью смешивать нормальное с существующим. Но подобный перекос внимания может быть источником этого смешения в том случае, если социолог черпает свои представления об обществе из вторичных источников, в которых уже присутствует, во-первых, недостаток сведений о нарушениях норм, а во-вторых, острый интерес к проблеме "нормальное-патологическое", т.е. интерес, отвлекающий внимание от нейтрального. Таким образом, то, что не присутствует во вторичных источниках ввиду специфической структуры интересов, то оказывается вообще не существующим в источниках третичных. Таково одно из объяснений довольно стандартного взаимодействия русской и европейской культуры. Русские радикализуют европейскую духовную ситуацию, лишая ее полутонов. Там, где Европа тяготеет к поляризации, Россия осуществляет эту поляризацию полностью.

Дело не только в том, что Сорокин был русским интеллигентом, но и в том, что он был позитивистки настроенным социологом, мечтавшим вывести законы общества. А такому социологу выгодно рассматривать изучаемое общество как экзальтированное. Такое общество имеет идеал - шаблон поведения, и все нормальное (не преступное, не аномальное) поведение сводится к этому шаблону. Количество схем нормального поведения оказывается резко ограниченным. К тому же не остается места для свободы выбора, а то ведь часто очень трудно построить гипотезу, какой именно выбор был или будет осуществлен. Задача социолога, изучающего экзальтированных фанатиков, простейшая: реконструировать шаблон должного поведения.

В экзальтированном, фанатичном сообществе поведение людей максимально приближено к их системе ценностей, поэтому изучение последней - т.е. изучение идеального поведения - дает представление о реальном поведении. И изучение самого общества может быть заменено изучением памятников его самосознания.

Социологи, которые хотят продолжать делать вид, что они ученые, что они знают нечто конкретное, что они знатоки социума, должны надевать на свои объекты маски религиозных фанатиков, восклицающих: только так должно быть, и не как иначе. Благодаря этому, ученые получают возможность судить о предмете на основании информации, весьма малой по объему, и к тому же весьма доступной даже и в кабинетных условиях: на основании того, что люди им говорят, как должно быть.

Схемы нейтрального поведения - даже если оно стереотипное - значительно реже фиксируется в письменных памятниках, чем схемы поведения должного. Нечего и говорить, что из-за этого обстоятельства в распоряжении обществоведа часто в избытке есть нормативные документы, но не хватает свидетельств о том, как жизнь развивается на самом деле, (и, в частности, как и насколько эти нормы выполнялись). И в этом случае, чем менее экзальтированным признает ученый изучаемое общество, тем в большей степени он признается в его незнании.

Таким образом, стремление создать обществознание в духе "естественных", "номотетических" наук заключает союз с интеллигентской восторженностью.

Иногда приписывание кому-либо ложной экзальтированности становится полемическим приемом, использующимся в политических целях. Классическим примером использования этого приема для меня является полемика между "патриотами" и "демократами", ведшаяся в российской прессе в первые пять -семь лет перестройки.

Патриоты, как известно, критиковали демократов за то, что они не учитывают российской специфики, обвиняли их в подражательности по отношению к странам Запада. Игорь Шафаревич, чтобы подчеркнуть отсутствие самостоятельности в мышлении у "русофобов" даже употребляет эпитет "точный " - построение общества "по точному образцу современных западных демократий". Но дело в том, что декларации и самопрезентации авторов либерального направления менее всего склонны развеивать подобные обвинения. Более того, упреки патриотов, являются прямой производной от риторик западников о "столбовой дороге цивилизации" и "порядках, принятых во всех цивилизованных странах". Для западников возможность ссылаться на западный уровень эффективности производства и западный уровень жизни перетягивает уязвимость перед обвинениями в подражательности. Следовательно, критики демократов оказываются как бы жертвами их демагогии. Стоит, я думаю, зафиксировать совершенно особую ситуацию в гуманитарном познании - когда критик в качестве своей оценки объекта заимствует у объекта самооценку, причем последняя может ведь оказаться совершенно неадекватной, или, скажем так, весьма своеобразной. Так, в британской энциклопедии в статье о советской литературе много места уделяется Федину и совсем не упоминается Платонов: в независимый иностранный источник некритически перекочевала официальная табель о рангах. Удобство и нетрудоемкость познавательной процедуры перевесило её недостатки.

Но когда исследователь или критик подменяет оценку объекта самооценкой, он с логической необходимостью должен сделать еще одно допущение - что изучаемый объект с фанатической настойчивостью следует своим декларациям - иначе, какой смысл изучать последние? Таким образом, можно говорить о совершенно специфическом явлении культуры - мнимой экзальтации, приписываемой обществоведами изучаемым сообществам для удобства своей познавательной работы. Историки, этнографы, антропологи любят ошарашивать публику рассказами о чрезмерно жестоких или причудливых нравах, царящих в среде тех или иных народов. И на помощь престижу ученого приходит мнимость экзальтации.

Кстати, возможно, что как раз религиозные евреи защищены от такого искажающего внимания со стороны общественных наук объемистостью и разработанностью своего Закона. Изучение религиозного закона евреев, Галахи - дело не менее, а более трудоемкое, чем изучение быта евреев.

Как всякая мнимость, мнимая экзальтация в соблюдении норм имеет право на существование в определенных рамках. Но эти рамки чрезвычайно узки, к тому же, когда речь идет о живых людях, особенно о современниках, то эта мнимость теряет свою безобидность, ведь с невменяемыми фанатиками обращаются как со зверями. Хотя тот, кто презентует себя лозунгами, скорее надеется, чем опасается, что его примут за фанатично преданного этим лозунгам. Удобство и не трудоемкость изъяснения лозунгами с одной стороны, и не трудоемкость изучения своего противника по этим лозунгам с другой перевешивают все связанные с этим опасности.

В американском кино, наверное, самый главный персонаж - это преступник-маньяк. Для остросюжетных фильмов требуются страшные злодейства, жуткие преступления, и не совсем понятно, какая же может быть рациональная причина для такого экстраординарного зла. Ну а у сумасшедшего можно не спрашивать, зачем он с таким упорством делает такие бессмысленные вещи. Ну а если не маньяки, то в ход идут исламские или марксистские фанатики, то есть тоже люди на гране вменяемости.

Фигура мнимого фанатика выгодна всем - и искусству, и науке, и политической журналистике. Она, как стенка аквариума, защищает мысль от сложности и многообразия реальности.